



Андрей Белый.

## ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ.

### I.

Я испытал чувство радости, получив приглашение участвовать—здесь, на страницах издания, посвященного «дневникам» тех писателей, с мыслями, чувствами и пожеланиями которых считаться привык.

Чувствовать себя среди тех, кого любишь и в той обстановке, какая складывается на страницах издания этого—счастье; и впервые, быть может, возможность общения; многие формы общения изжиты: к ним не вернуться искусственно; но общение с теми, кого уважаешь,—осталось; и форма общения моего есть «дневник»; разговаривая в минуты досуга с собой,—не с собой говорю: говорю с теми близкими душами, в глубине сознания которых естественно протекает все то, что стремлюсь описать: по отношению к себе самому становлюсь натуралистом я в этом процессе: описываю добросовестно факты сознания моего; не «субъективные» переживания сознания волнуют меня—индивидуальные особенности переживаемой ныне эпохи; она прорастает в нас всех в той же мере, в какой открываем ей душу; правдивые, чуткие души (такими считаю я души писателей) вероятно не могут не осознать себя ставшими по отношению себя же самих в «индивидуальное» положение; и, вероятно, я выражу общую истину, если скажу, что по новому переживаю действительность; что казалось в ней общим, обычным и, как говорят, объективным, что виделось личным—событиями мира откинута; наше время, нас строя, в нас строится; «строй современности» в истинном смысле не может быть нами охвачен; попытки ему навязать «объективный» критерий оценки есть ложь субъективности; нежелание дать действительности проговорить в нашем духе так именно, как диктуют ее ритмы времени; «универсальные» истины потерпели фиаско; в усилии разрешить нас настигшие кризисы, мы подставляем себя под удары; удар за ударом

нас ждал; от катастрофы мы шли к катастрофе, натаскивая «всеобщие» истины на действительность, предстоявшую нам—оттого, что «всеобщие» истины жили в сознании, как субъективные истины класса, кружка, словом малого слоя людей; философия «объективности» истины при внимательном познавательном вскрытии ее тайных пружин разоблачилась в истории, как философия «субъективная»; в наших взглядах на истину (были ли мы «кантианцы», «марксисты» или «мистики») явно господствовал Кант, расширявший понятие «субъекта»; «субъект познания» Канта, в стремлении лягушки раздуться до мира и вписывать в мир субъективный критерий закона,—«субъект познания» лопнул; «субъектная» истина, еще недавно считавшаяся «объективной», предстала как «субъективная истина»; и чувствительные сейсмографы жизни, философы, предупреждали о кризисе: нельзя на горбе субъективнейших временных дефиниций рассудка проехаться комфортабельно лишь на том основании, что субъективные дефиниции субъективно признали себя объективными истинами.

Понятие об «объективном», как истинном, отжито; истина—индивидуальна; она постигается не в законе—в проросте своем: в самосознании, в «я»; кто желает учить, тот лишь учится; учит тот, кто описывает прорастание жизни в сознании индивидуальном; не правила жизни, а материалы сознания интересуют нас в истинах; в это огромное время естественно разбиваем все то, что недавно еще признавалось «объектом» писательской деятельности; я думаю, что я выражу мысль не свою, если я ее выражу приблизительно так: «разбиваются в нашей душе наши книги в их темах, в их целях, в их складе; писатели, мы выходим из «книжки». Куда?

Выход к «улице» заповедан: нет «улицы»; «улица», т. е. нечто безликое, серое, «объективное» разрешилось в отдельные индивидуальные всплески, опередила писателей, преподносивших ей «книжку» с тенденцией вкладывать под девизами «объективности» субъективность критерия.

«Объективное» превратилось давно в «субъективно-партийную» проповедь, а «субъективнейшее» оказалось понятным для масс.

Но каждому, вероятно, пришлось натолкнуться на факт: то, что мы проповедывали культурному слою и что встречало отпор в утонченнейших представителях этого слоя, тем ныне естественно дышит вступившие в поле сознания нашего массы.

Я здесь приведу личный факт: мне приходится посвящать во все

тонкости ритмики представителей пролетариата и—что же? То именно, что вчера было признано, как ненужная роскошь профессорами, доцентами—со стихийною жадностью воспринимается душами представителей «масс»; я, вращаясь в кругу начинающих пролетарских писателей, вижу, что лозунги, принадлежавшие кругу «интимных» писателей,—в самосознании большинства пролетарских поэтов живут, как нетребующая доказательств природа; «поэзия несовместима с политикой», «содержание и форма суть стороны цельности», «тенденциозное творчество губительно»—эти лозунги отвергались вчера представителями «объективных» течений; и эти лозунги приняты «массой».

Но это значит одно: «массы» нет.

Вчера жили «массы» в рассудочном представлении нашем; рассудок в сознании современности разве еще прозябает в «субъективизме» партийной борьбы.

Все истинно «объективное» скомпрометировано, как отчаянно «субъективное»; и представление о «массах», о «массовой психологии» оказалось лишь «вещью в себе, для себя», уличаемой как понятие предела.

«Сфера сознания»—разбита; сознание переросло свою сферу; и «индивидуум», отделенный от «массы» вчера, оказался внутри жизни масс; «масса» же оказалась обратно, внутри индивидуума, как что то вязкое, неотчетливое, несущее физиологические отправления индивидуальной умственной жизни, и ей проэцированное наружу: в абстрактнейшем представлении о «массе»; сознание писателя строилось на делении отправления функций; так строился выход писателя к «массам»; писатель им, вязкобезформенным массам, нес «истину»—«объективную» истину; выход «субъекта» (писателя) к общественности (или массам) вчера протекал в ритуале «общественной деятельности»; индивидуальная жизнь изобретала ряд масок, чтобы казаться «общественной»: «маски»—сюжеты, задания темы: под формою книги: они появились для того, чтобы массы учились по ним. мыслить, чувствовать, жить;—так страданье писательской печени облекалось пред «толпой» в «мировое страдание», а субъективные признаки дальтонизма преподдавались в теории, где зеленый цвет данной, эволюционной культуры преподносился, как красный цвет пламени и т. д.

Ныне маски разбиты: писатель в интимнейшем, в индивидуальнейшем описании прорастания в нем современности стоит в «массе», которая как то исчезла; вчера еще виделись «массы»;—сегодня нет

«масс»: индивидуумы, собеседники наши, стоят перед нами; мы сплавлены мощным потоком событий, и одинаково все мы вживаемся в новизну положения нашего.

Все сошли с места, все—сдвинуты; писатель, рабочий, крестьянин, француз, русский, немец; перегородки сломались; индивидуальны все взгляды, все вкусы; «индивидуальность» «есть общее» место последнего времени; «учить» больше некого; фикция «поучений» отпала; отпала и фикция ритуала «общественной деятельности», которой вчера обставлял себя каждый писатель, будь он «субъективен», или будь «объективен».

«Писатель» в недавнем, искусственно-созданном смысле исчез, как исчез и «читатель».

Но что-то осталось: по прежнему книга читается (даже растет спрос на книгу); читается все без разбору—читается все; субъективные излияния футуристов пестрят пролетарскую прессу; «субъективисты» вчерашнего дня изучают «марксизм»; но футуризм, символизм, анархизм и марксизм—не являются для читателя проявлением истин, а субъективными импровизациями на тему об истине; литература всех видов и рангов отстала от жизни; она протекает в «традициях» миновавшего дня.

И «писателю», ощутившему выход из ранга «писателей», ныне естественно остановиться перед собой и сказать:

«Что сам я, как писатель? Существовал я для «масс»—для читательских «масс»—преподнося им «учения»; был ли я лириком, беллетристом, или критиком—все равно: предполагалось, что форма моих изживаний действительности организует сознание «читателя» (или «массы»). Но «массы», «читателя»—нет; меня читает «писатель»; воистину каждый «читатель»—создатель пусть им ненаписанных книг? «Читатель» лишился пассивности: он—активен; событиями мира введен он в круг творчества личной судьбы; благороднейшее назначение писателя—быть создателем жизни; творцы создаваемой жизни отныне—все мы; этим фактом «читатель вчерашнего дня провалился куда-то; по существу он «писатель» (он «пишет судьбу современности»); он читает «писателей по иному уже: как «писатель». Интересует его не готовая формочка, интересует его в книге вовсе не «книга», не пропись, и не изделие чувств; интересует его становление, кипение прорастающей жизни; индивидуальное восставание истин дороже ему «истин» в прежнем поверхностном «объективном» и «субъективном» значении; ни сюжеты, ни фабулы, ни

стилистика, ни безумие или трезвость писателя—привлекают читателя к писательским темам; лаборатория опытов описания сознания интересует его, со-творца. Между мной и читателем ныне впервые возможна естественность отношений; встречались недавно еще неестественным образом: я, восседая на кафедре, поучал; он молчал подомною; все сдвинуто ныне: я кафедру сжег (в моей комнате нестерпимейший холод); а у читателя времени нет меня слушать (он ходит в «хвосты»); как «читатель» и как «писатель» мы—«бывшие люди». Традиции наших общений—парадные комнаты встреч—провалились; и мы, провалившись в них, повстречались в подполье; но именно, в этом подполье слагается наше сотворчество: и читатель всем ходом событий теперь приобщен к тайнам творчества, (расстрелялась фиктивная правда вчерашних условий читательской жизни на нем); выступаю перед читателем, ставшим писателем жизни,—писателем, ставшим читателем проростов новой эпохи в нас действующей.

— «Так не буду ж читателя я угощать черствым хлебом законченных книг; буду я говорить, как во мне всходит тесто на новых дрожжах. И говоря сам с собою, описывая себя самого в человеческом прорастающем облике, буду писателем я, умеющим пережить как писателя миновавшей эпохи, себя, соединяя две правды (писателя и читателя) в мистерию коллектива, живущего многоличием индивидуумов.

— То, что ныне во мне происходит—мистерия; «я», стало «Я» мировым; интересы расширены; мировые события—индивидуальнейшие переживания мои; то, что ныне творится в сознаниях читательских «масс», есть мистерия тоже; безличное индивидуализировалось; «общие» устои разбиты; и из всего, что меня обстаёт, слышен крик: «Я, я, я!».

— «Мистерия—тайна слияния индивидуумов в коллективе; воистину индивидуум вне коллектива,—мистерии не слагает никак; мертв воистину тот коллектив, где задания индивидуальнейших проявлений сознания отвергнуты; осознание действительности—есть задача моя и читателя; действительность индивидуальна всегда; описывать рост ее в «я»—осознавать себя в «я», осознавать свое «я»; новая эпоха стремительно выпрямляет во мне мое «я»; и работа над описаньем конкретного «я» есть объект, перекрещающий меня и читателя».

Так скажет писатель, в котором разрушено представление об объективных задачах писательской «деятельности».

Так сказав, не за всякую книгу он примется: примется, вероятно, за ту книгу книг, для которой единственно стоит работать: забывши о прежнем читателе, о кругах и о сферах распространения книг (ведь исчез «книжный рынок»), он будет писать для себя: интереснейшее для него самого — интереснейшее для той сферы, где прежде водился «читатель»; сотрудник, собрат и товарищ по творчеству рядом с ним станет.

Рассказывая об индивидуальнейшем, бывший писатель соединится с читателем в нераздельную цельность, в «я—ты».

С собою самим говорить перед массами — вот чему должно учиться. Вчера еще мы, проповедуя истины, становились в митинговую позу; бросаясь навстречу толпе, отрезывали себя от толпы; осознать, что в толпе нет толпы — нам пора; ведь приемы для толп, применяемые как средства общения с читателем, этого читателя разогнали; читательской фикции стало скучно «почитывать» нас; мы должны отучиться от лживых привычек высказывать «объективные» или — «Боже нас сохрани!» — общедоступные истины; ведь «читатель» к нам явится только в том случае, если мы будем с собою самими беседовать о «недоступнейшем» в нас; чрез «недоступное» в нас — ныне доступ читателя к нам. Чтоб открыть этот доступ, следует поработать над нами самими: привыкшие популяризировать, изошренные в «литературных приемах», изготовлявшие «книжки», — писали ли мы для себя «Дневники»? Разве что писали друг другу «заветные» письма, и тут упражнялся в «стиле». И оттого-то друг другу давно уж не пишем мы писем «писатели».

Будем же мы писать о себе; и откроется: не о себе пишем мы, — друг о друге; откроется: между нами, здесь собранными, существует, конечно же, братская связь, не сумевшая осуществиться в условиях «быта писателей», как его понимали недавно.

Тогда вот, когда мы друг друга найдем вновь в себе («Я это ты») — формула живописует реальный этап достижения в самосознании нашем), откроются новые истины о назначении писателя: и «писатели» во вчерашнем угаснувшем дне (ныне — «бывшие люди»), мы в завтрашнем дне вновь восстанем в писательском звании: **Человек Века!**

## II.

Начинаю «Дневник»! Буду в нем я описывать все, что мелькнет в сознании: события индивидуальные и события общие одинаково

переживаются мною: в индивидуальном конкретнее выражают себя духи времени; общее—порождение эгоизма. Я буду и прост, и понятен в сплошных непонятностях состояния сознания; непонятное для «читателя»—факт, описуемый точно, и факт непонятного для других бытия—приобщается к серии фактов, уже всеми понятых. Для того-то и существует мир фактов, чтоб фактам учиться.

Почему я веду свой «Дневник»?

Мне писать почти не о чем: определенная тема претит. Если я говорю, что писать почти не о чем, это вовсе не значит, что темы мои истощились; наоборот, мои темы размножились. Если бы я захотел выбрать тему статьи, остановился бы в недоумении перед множеством разнообразнейших и интереснейших тем: я бы мог написать о театре, о драме, о социальной мистерии, о постановке Шекспира; переживя круг заданий, сейчас же вот, с места в карьер, мог бы я написать о поэзии, о пролетарских романах, о Байроне, Гете; писать—о стопе, о диподии, каталектических строчках, о дактиле; например, у меня в голове возникает трактат; и материалы найдутся—но вот что мешает: такие же точно круги интереснейших тем занимают меня: ритм истории, выражение творчества исторической мысли в архитектуре, барокко, романский стиль, готика—трудности вовсе не в выборе «тем», а в том, почему выбираю я именно данную «тему», когда бы мог выбрать другую; все, о чем ни подумаю, зажигается, мысли бегут, развиваясь в статью, опережая уставшую руку; еще не написан и лист, а уже статья выветвилась, зацвела и в сознании приняла она форму «трактата», которым заняться бы стоило; и бросаешь «статью»: столько тем уж загублено. Вереница написанных фельетонных статей возникает в сознании.

Кладешь поневоле перо.

Писать—не о чем; все—предмет темы. Не может мне верить читатель, что темы мои мной изучены, и что я есмь: филолог, философ, историк театра, историк искусства; специалист изучает предмет специальности, ведь о каждом предмете написана библиотека; и казалось бы: взяться за то, что ты знаешь, чем ты занимался все эти последние годы... Но именно: эти последние годы я, главным образом, занимался собою самим; и меня волновали вопросы, что круг специальных занятий моих, есть круг замкнутый; «субъективное» и «общепризнанное» (научное—что ли) сплелось,—да так прочно, что узла не распутаешь. Знаю, что если бы я написал здесь статью на основании библиотеки книг, все воскликнули бы: «Вот

так скуча!». И главное: то, что пришлось бы доказывать, было бы совершенно неверным для всякого непредубежденного человека; тут ведь не было б жизни, а выявление жизни под специальным углом, определяемым методом; методы же,—что осознано специальной наукой о методах, суть условности; если бы я занимался печением хлеба, моя б космогония, вероятно, была бы иная, чем ваша: для вас, скажем медника, солнце есть вычищенная кастрюля, которую Господь Бог протирает всю ночь: оттого-то с утра начинается сиять оно; а для меня солнце—печь, из которой выносятся Господом Богом хлеба, иль планеты; и оттого солнце—жарит.

Все методы специалистов суть субъективнейшие приемы; философии их есть собрание анекдотов о солнце, как медной кастрюле, иль печи; меж тем «объективность» и quasi-научный критерий трактатов о жизни—несносны уже; анекдот преподносится, медленно; и—с убийственной скукою; положение специалиста отчаянно: он базирует специальные выводы, например, на материи, а материю специалист смежной области уничтожил.

Специалисты, уничтожая друг друга, давно уничтожили общую почву, которую размежевали они меж собой, и на которой они вводили свои специальные знания; «субъективность» наук—ныне признанный факт; но тем самым наука, науки рождавшая—субъективна; и кто специально занялся вопросами о критериях объективности, для того реномэ специалиста какойнибудь отрасли знания есть реномэ безусловно дурное.

Давно занимаюсь я темами, отстоящими далеко от моей специальности: естествознанием не занимаюсь я вовсе.

Интерес ко всему, что ни есть, есть, пожалуй, дурная привычка во мне «субъективиста», мечтавшего о себе, что он есть индивидуум.

«Субъективизм» в предыдущей эпохе возник, как протест не умеющей себя выпрямить личности против ложных и дутых замашек стремления к объективности; но «объективность» теперь оказалась «кожей», поверхностью индивидуального строя во всем мироздании; «субъективизм» же есть прыжок на коже: заболевание кожи; болеющая объективность его породила; неровности кожи сквозь микроскоп—только «клеточки», напоминающие друг друга; различия в цвете кожи стираются; тут клеточки—клеточки там; «кожа» есть общее определение «объективных» критериев; определение кожи как суммы эпидермических клеток, слагающих ткань,—определение объективных критериев с точки зрения суммы входящих в них

суб'ективнейших элементов; распадение кожи на сумму отдельных ее суб'ективных участков не индивидуализирует кожу никак; кожа есть то, чем покрыт организм — об'ективное определение кожи; она — сумма клеточек эпителия: таково преломление общего определения кожи сквозь суммы ее суб'ективных частей; суб'ективное здесь равно об'ективному; здесь субъект и об'ект нам даны, как об'екты.

Суб'ективная импрессия жизни в талантливых парадоксальных статьях нам набилла оскмину; здесь талантливость, парадоксальность постольку, поскольку она есть явление единичное, противопоставленное явлению общему; но с тех пор, как талантливыми оригинальными темами отличаются без исключения все — «суб'ективизм» стал скучнейшим и «об'ективнейшим» явлением разлагавшейся жизни; талантливыми оригинальными темами разболелся и я, десятилетие угощал я читателя ими, пока я не понял, что эта «талантливость» очень скучна, никому не нужна; истекает она от болезни: от разложения «об'ективности» как покрова, в котором является в мир мое индивидуальное «я»; прыщики на покрове (на коже), иль ряд суб'ективности есть показатель какого то изменения крови под кожей; а изменить свою кровь или выявить индивидуальное «Я» одинаково из под покрова («об'екта») и прыщика («суб'ективности») есть задача, связанная с самопознанием; оригинальные «темы», «сюжеты» и «мысли», обилие оригинальных «сюжетов» — явление времени; не оно интересно а интересна причина, меня заставляющая по новому самостоятельно видеть любое явление жизни вне круга написанных книг и вне установленных точек. Интересны какие то изменения в жизни «Я»: тут причина всех кризисов жизни, как «общих» явлений, так и явлений «случайных». «Суб'ект» и «об'ект» суть два глаза мои; если же суб'ективный критерий расходится с об'ективным — сместилась ось зрения; координация зрения явно расстроилась: и «об'ективно» взирать на события мира, ведь это значит зажмурить другой, тебе данный от Господа, глаз; то же самое — «быть суб'ективным». И то, и другое — достаточно скучно.

И вот мне наскучили об'ективные темы; наскучили оригинальные, суб'ективные приемы письма; наскучили круги тем; я нашел ритм строения бесконечных возможностей в темах; и «темы» я бросил.

Зрение зависит от зрящего: зрящий же — «Я». И пора мне заняться координацией зрения: упразднить «суб'ективность» во взгляде, как некогда упразднил я об'ект. Следует от мелькающих пер-

спектив отказаться; их «я» проецировал вне себя; разглагольствовать о новизне перспектив, кругах тем — это значит: топтаться на месте.

Писатели, разрабатывающие новизны своих собственных перспектив, этим втоптаны в старые русла отживших критериев; перспективы — в том нет; и «статья», «тема», «фабула» — аберация; есть одна только тема: описывать панорамы сознания; но для этого надо уметь их читать; мы давно разучились прочитывать перспективы сознания, принятого, как неподвижная, в рамму рассудка поставленная, картина; олеографический пейзаж — наше знание нас; может быть, было некогда время, когда пейзаж тот был списан с натуры; написанное положили мы перед собой, как канон, позабыв, что природный ландшафт изменяется, что деревья, его образующие, уничтожаются временем, что строения стареют; и — далее: изменяется атмосфера: зимой появляется снег, а весной расцветают цветы; та же местность в различных условиях времени — неузнаваема; неузнаваем и внутренний мир; раздвигаемы и сужаемы его грани.

Такая то перемена произошла с нашим «я», но изменения в нашем «я» протекли незаметно: нам некогда было внимательно изучать наше «я»; сосредоточено было внимание наше на том, что не «я» на ландшафте, на быте, на социальной среде и на многом другом; правда, помнили мы, что это все воспринимается нами по аналогии; всякое «ты» понимается лишь постольку, поскольку в движениях своих отражает то «ты», нам единственно ведомое, или «я»; — но ведомое оказалось неведомым; наше «я» оказалось для нас пребывающим в перспективе, им созданной; пребывающим перед нами, как старый ландшафт; основание понимания чего бы то ни было, «я», оказалось навеки опознанным, данным в рассудочной рамке психологических истин, раскрашенным красками чувств, несуществующих в нашей природе; и мифом о «я» пробавлялись мы в истинах; неудивительно, что несущее «я», наконец, оказалось «субъектом»; индивидуальное жило под маской «субъектности», а «субъект» оказался всеобщим «субъектом»; «объективные истины» оказались в недавнее время «субъективацией» методов: все «субъективное» в нас оказалось общим местом.

Остается мне все позабывать: «круги тем» и «субъект»; обыденный, всеобщий.

Остается сосредоточиться в «Я», мне заданное математической точкою.

Но не значит ли это копаться в себе?

Мы копаемся в субъективных эмоциях, поучая себя вместо того, чтобы фиксировать точку «я» и постепенно приблизиться к ней. Описание путешествий своих вдоль душевных пространств к граду «я» натурально; выдумывать нечего тут; «фантазировать» — смешивать факты сознания с гипотетическим промыслом наших рассудочных истин.

Многие «умники» наших дней — фантазеры: учения философов — смесь наблюдений из мира сознания с «принципами» голых истин, доставшихся по наследству от объективного мира; «учитель», беспочвенный субъективист в маске догмата и «доктринер», «моралист», например, проповедник альтруистических истин — утонченные эгоисты, выращивающие себе миры фикций, чтобы ими питать свой «субъект».

В положении доктринера и в позе учителя я стою перед вами в статье; блестящая «перспектива» статей есть проекция восхождения к себе; и оттого то статьи, как бы ни были разнообразны их темы — всегда выпадение меня самого из меня, а «быть» повести, мною измышленной — есть фикция.

«Современность», в которой мы все копошились, была сырым трупом; описывая «Петербург», я исшел из нее, как Еврей из Египта; попытки «общения» с «публикою» и друг с другом есть «общее место», «субъективистическая» иллюзия объективной общности; давно стал несносным писательский голос мой; я поспешил удалиться к себе самому.

Научаясь описывать «я» — научаюсь я образом прорастания истины времени в малом, в конкретном; вся ширь перспектив и проектов в нас — действие автоматическое; нечто в роде «чесотки»; то кожное действие внутренних изменений в крови измененного «я» человека, пытающегося приподняться наружу из под порога сознания, сквозь строй «объективных» и «субъективных» критериев.

Если бы мне суммировать впечатления от ландшафтов, которые удалось мне открыть в себе медленным чтением, получилось бы нечто, что мог бы я уплотнить в нижеследующих словах:

— «Перерождение в нас представлений о «я» и о «мире» нас ставит в парадоксальнейшее положение относительно мира и «я» в ныне свергнутом смысле: положение это характеризуемо так: «я» — не «я»; то, что мне открывалось доселе, как «я» есть», «субъект», а не «я»; это «я» — групповая душа, не развившаяся до самосознания; быт, национальность, привычка, определяя то «я», определяют не «я», а машину; такое фиктивное «я» — автомат; то не «я», а материя

мира во мне. Наоборот, мир—не мир; то, что мне открывалось, доселе, как мир, есть «объект познания»; свойства этого «объективного» мира—субъективны; мир есть лишь сознание; мир—во мне; я есмь мир; мир не мир, «я»—не «я»; это—фикции цельности: это—«субъект» и «объект»; но «субъект» и «объект» суть два глаза «Я-собственно»; что это—так, открывает мне факт описания страны «Я», до которой любой из нас может подняться и до которой конкретно подняться нет времени; тот из нас занят «темой романа», а тот—«фельетоном». Но оттого то «романы» и «фельетоны», почерпнутые из давно миновавшего быта, суть фикции: тени сознания; не отражают они ничего.

Если бы хоть раз пережить новизну положения каждого индивидуального «Я» относительно собственной фикции («я» обыденности) и фиктивного мира, обставшего нас, станет ясно: отныне нет «я» и нет «мира», есть «Я» с большой буквы; оно—Чело Века; оно—строит купол огромного храма: действительности, сотворяемой заново, где одною опорной стеною является «я» в прежнем смысле, другою же «мир» в прежнем смысле; пересечение, перекрещивание «мира» и «я» в Челе Века свершается.

То—Человек.

Где стоит Человек, там нет фикции разделения; осознание человеком законов движения «я»—социальное делание. Каждый штрих в зарисовании, в копировании жестов «Я», во мне зреющих, есть огромное общее дело, перед которым тускнеют проекты, реформы, статьи, стихи, повести наших писательских «я», ставших фикциями в совершенно фиктивном читательском «мире»; таковых «я» и нет, потому что нет «мира» в былом его смысле.

Не занимают меня круги тем обо всем, что не «Я»; и потому то «Дневник» моих записей, мне рисующих положение мое в мире, отныне мне главная тема; лишь в этом строительстве нового мира остался писателем я; все же прочее я потерял, но ценою утраты обычного крова (профессии) приобрел я Небесный Покров: интересы мои в «Я» расширены, потому что и «я» в прежнем смысле, и «мир» в прежнем смысле—во мне.

Мировой—«Я»; и да: мировые задания определяют во мне интерес к своей собственной теме; ведь только этою темою восхожу к современности я. «Современность» в обычном значении—потеряла значение: все попытки ее разрешить «объективными» средствами глубже ввергают нас в тину вчерашнего дня, обнаруживая «субъективный» критерий оценки; попытки ее оценить «субъективно».

(отказом от «общества» выхождением из него, замыканием в себя) ведут в эту же тину, вскрывая сплошное, тупое и общее место как раз в субъективнейших точках переживаний субъекта; «субъект» и «объект» не суть «Я»; общество не противопоставляемо личности; общества не выведешь из корыстных мотивов «субъекта»; «субъекта» не выведешь из общности совершенно так же, как левый глаз не рождает глаз правый, но оба суть лопасти мозга; и оси зрения перекрещены под челом.

Перекрестить в себе две перспективы и в точке пересечения стать — значит стать в Челе Века; подняться до «Я». Это дело есть миссия времени; опыт узнания себя в себе подлинном есть огромное социальное дело эпохи, в которую входим и потому то «Дневник»; то есть точная запись всего проходящего в «Я», есть существенный опыт описывания миров неописанных.

Буду описывать все, что ни есть: постараюсь отрешиться от всех предрассудков «задания», «темы»; и — главное: разучусь поучать; дидактический тон убивает в зародыше самую возможность описывать что-либо; не поучения, а материалы сознания моего перед собой (не пред вами) вскрываю я здесь.

Дидактический тон этих первых вступительных слов (верный привкус его) есть досадный во мне пережиток «писателя» — форма, которую не упразднишь с первой точки; он — то «здравствуйте, как поживаете», без которого не обойдешься; не думайте, что это «здравствуйте» относимо, читатели, к вам: обращаю к другим его:

— «Здравствуйте, двойники мои: Белый, «писатель», Бугаев, «читатель» писателей; посторонитесь-ка, тени печального прошлого; и — скорее ложитесь мне под ноги!».

Буду ка я говорить о случайном событии дня, о погоде, о книге, о братстве народов, о том, что я видел во сне и о том, чего вовсе не видел; все это хочу я поставить перед собою самим; я хочу здесь описывать, что случилось во мне, в моем мире сознания, когда то-то и то-то предстало «событием» в нем. Событие — «со-бы-тие»: бытие моих внутренних актов соединилось с событием чего-то, лежащего вне меня; соединение двух «бытий» есть со-бы-тие; как произошло соединение это и Кто Соединитель?

Не «Я» ли?

Коль «Я» — то это «Я» не есть «я» в обыденном значении слова («я» вписано в нем, как и «мир»).

«Я»—вне-мирный, «вне-я чный» перед собою самим восстаю из  
распахнутых половинок преддверия; «Андрей Белый» откинулся  
направо; «Бугаев» откинулся влево; оба—фигуры, нарисованные на  
распахнутых половинках двери; там, за дверью—Храм Жизни; рас-  
пахнута дверь:

«Ave, Frater!».

*Андрей Белый.*

6 Января 1919 года, Москва.

## ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

### ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ КУЛЬТУРНО РАБОТАТЬ.

Я хочу на страницах, любезно здесь мне предоставленных, говорить о себе: исключительно о себе; говоря о себе, о своих опасениях и нуждах, о планах строительства своей внешней и внутренней жизни, могу показаться законченным эгоистом. Время ли говорить о себе, когда личность размахом событий, в которых живем мы, естественно потеряла значение, когда ныне пред нами открыты блестящие перспективы строительства жизни? Растут, как грибы, великолепнейшие начинания во всероссийском масштабе; и открываются «академии», «университеты», «дворцы» для искусств и т. д.; приглашают тебя воплощать все заветнейшие, может быть, устремленья твои.

И вот, именно в это «внеличное» время мне хочется сосредоточиться на своей преходящей, случайной писательской «личности»; эту «личность» в себе я отверг много лет; между миром и «Я» (моим «Я») эта личность торчит все еще как досаднейший катаракт, заслоняющий зрение; именно, в это «внеличное» время мне хочется крикнуть: «принципиальные» отвергания себя для слияния с философией «общего дела» во мне откровенно страдают существеннейшим недостатком: абстрактностью. Моя личность во мне разложилась; естественно умирает она (и я сам так «поволил», когда-то, сказав себе: смерть «личной» жизни!). Но смерть моей личности — совершенно конкретная смерть, сопровождаемая физиологическим разложением, болезнью и муками агонии; смерть личности на моем вечно-сущем живейшем, себя, как «Ты», «Он», ощущающем «Я» («Я» есмь «Ты» Коллектива), — смерть личности есть: образование катаракта на зрении; личное «Я» — катаракт, несозревший, на подлинном «Я», образующий путь между «Я» и предметами мира, к которым протянуто «Я»; осознание этого катаракта в «себе», коль оно не абстрактно, — великая мука: трагедия, перед которой есте-

ственно меркнут иные трагедии; ощутить свое личное «Я» до конца, значит ясно, конкретно в себе пережить катастрофу всего, чем «Я»-жило: пережить катастрофу всего «суб'ективного», «чувственного»; пережить катастрофу всего «об'ективного», «умственного»; пережить все критерии «над-индивидуального», «социального», «альтруистического» в себе, как подмену бурнейших, грубейших, элементарнейших «эгоистических» всплесков болезни сознания более утонченными, злостными и, я сказал бы, хроническими недомоганиями «эгоизма»; коль подлинно мы не хотим «эгоизма» в себе, мы должны на себя ополчиться не там, где кричит в нас грубейшее «хочу есть», «хочу пить», «хочу блага жизни», а там, где вещает нам в нас наше «Я»: «Ничего не хочу для себя: хочу видеть весь мир перестроенным по образу и подобию той картины действительности, которая во мне встала, как об'ективнейшая, разукрашенная всеми правдами социальных идеологий и всеми видами научнейших истин».

Понять до конца (и раз навсегда), что подмена в нас образа «суб'ективной действительности» данными «об'ективнейших», «научнейших» истин о жизни, навеки в нас «Я» упраздняющих для социального «Мы», — понять до конца, что такая подмена есть в сущности переход от мелкого собственничества сознания к крупно-капиталистической его форме, где «Я» выступает уже не как «Я» кустаря, а как «Я» члена трёста — понять это горько; едва выносимо! Понять эту истину, — значит: в себе сокровеннейшее ощутить, как срезаемый с собственного организма сознания ноготь. Легко отрешиться от «Я» эгоистических вождёлений, направленных на приобретение материального блага; и мучительно отрешиться от пиршеств астрального сладострастия, заключенных в утопиях социального блага, когда ты в картине Тебя самого упраздняющей правды всемирной себе самому воздвигаешь в сознании монумент, как великому гуманисту, борцу за права «человечества». Осознать в себе все упраздняемым, уничтожаемым — горько: ведь «мир», «человечество», «об'ективная» истина и «всёобщее» благо, встающие в «нас», — это мы в нашей «самости»; «самость» увертлива; свойства ее: самое себя упразднить «отвлеченно» в утопиях; но отвлеченные выходы из себя самого есть естественное расширение эгоизма; когда эгоисты мы, то мы естественные феодалы; когда же диктуем себе мы градации «альтруистических» правил, — мы, собственно говоря, «национал-либералы» сознания: не более. Предпочитаю естественное проявление жестокости

автократических принципов утонченному «либерализму» насильничеств.

Ныне выходим естественно из иллюзии «субъективного эгоизма», тем крепче мы держимся за иллюзии, «объективного альтруизма», не понимая, что эти иллюзии: заболевание личности, обрекающей в глубине глубин себя на смерть.

«Я» подлинное отделилось теперь от «Я» личного. Но «Я» личное, разлагаясь на зрени «Я» выявляет этапы естественного созревания катаракта который с зрачка не срываем, пока, отвердевши, не станет незрелым; и мы, если волим «Я—Ты», в нашем «Я», мы должны приготовиться к операции отделения «катарактовых» тканей от тканей живого зрачка; мы должны твердо помнить: все наши «абстракции», «темы», стремления к «просвещению», вся «великая» просветительно-культурная сфера, в которую увлекаемся мы,—просто зуд катаракта на нас: зуд естественно умирающей «самости», простирающей свои алчные крылья над миром сознания других и желающей изнасиловать мир сознания других пробираясь как тать, в этот мир под различными масками «гуманитарной», «альтруистической» проповеди; «объективность научности» здесь—жесточайшая тирания. Да, тирания марксизма, внедрение принципов, погребенных теорией знания, при искусственной помощи Чрезвычайек—пародия, карриатура того, что естественно протекает в нас именно, протестующих против Чрезвычайек в культурном строительстве; мы, «гуманисты», «философы вольные», и исходящие жалобами на насилие,—мы то есмы: утонченнейшие насильники, палачи и тираны; государственная монополия мысли есть наше же отражение: «страж порога»; и—да: «большевики»—мы есмы.

Зуд, отчаянный зуд, создавать Учреждения во всероссийском масштабе, учить своей правде, (учить своей «правде» —насилие),—язвы на нашем зрачке: образование катаракта; чем более будем мы ныне кидаться в строительство, учреждать «академии», «университеты», тем более будем болезненно ощущать мы: отсутствие в учреждаемых «академиях» массы; мы будем естественно поучать только стены: бетонные стены, которые нас раздавили. Где массы? Их нет. Эти массы теперь замерзают в хвостах (и обращение к умирающим в тифе, и к замерзающим в холоде с увещеванием, чтобы «массы» текли к нам учиться, есть вид эгоизма: есть зуд катаракта), теперь вместо «массы» людской притекает к нам твердая «масса» камней; или — стены, в которых хотим мы читать небы

валы, утонченные, интересные курсы; стремление к курсам есть зуд: зуд болезни; а притекание стен к полю зрения нашему есть естественное физиологическое ощущение больного (чем более чешешь зудящее место, тем зуд нестерпимей). А стены «тюрьмы» среди которой теперь протекает вся вольность заданий культуры, — есть медленно созревающий катаракт: умирающей личности.

Личность имеет огромные корни: «внеличное», в нас со-  
здаемое, только корни: естественной, эгоистической самости; корни  
подчас превышают размером растение (сорную траву); и вырвать с  
корнями растение личности (рост ее в нас), — значит вырвать все  
формы «вне-личного» в нас, все эти абстрактные формы «вне-  
личного»: личность, лишь личность, пустившая корни!

Мной это все создано: создано раз до конца; но это вовсе не  
значит, что стал я свободен от ветхой, от хищной, от брэнной  
эгоистической личности; наоборот: в непосредственном пережи-  
вании себя самого я ношу мою личность вонзившейся в глаз мой  
заною; я страдаю безмерно; я — болен, отчаянно болен своим  
умирающим эгоизмом во мне; и эта смерть эгоизма во мне есть,  
быть может, и смерть «Я»: «Я» во мне живет под покровами собственной  
оболочки: и личность себе говорящая «Я»: говорит не о «Я»; она —  
может сказать лишь: Взыгрался младенец во чреве моем! Но мла-  
денца-то нет — во мне есть зародыш, а мать, или «Я» моей личности,  
при рождении «Я» несомненно в грядущем умрет: эта смерть моей  
личности не обуславливает рождение младенца; младенец-то может  
быть «выкидышем»; я себя обрекая на «Я», обрекаю на смерть:  
все в себе, что имею; смерть вторую к себе подзываю; умение  
под оболочками личности вырастить «Я» из зародыша в жизнь  
организма еще не сложилось во мне.

Потому-то, возжадав младенца, живя для младенца в себе, я —  
беременная, плод носящая женщина; я подвержен капризам: мне  
нужно для жизни младенца во мне, может быть, утонченнейшие  
условия жизни; я весь — о младенце: но этот младенец пока что —  
«зародыш»; при смерти во мне окончательно личного «я» (миг  
рождения «Я»), может быть обнаружится: «Я» никакого и нет;  
есть лишь «выкидыш».

Кто сознал окончательно, что наше время есть время одновре-  
менного рождения «Я» и «Мы», одновременного рождения не только  
форм социальной, но и индивидуальной действительности, для того  
безвозвратно разрушены все утопии «социальных», «абстракт-  
ных» теорий, как разрушены и утопии современного «индивидуа-

лизма»; первые суть «субъективности», преподносимые под маскою «объективной теории», от которой теория знания не оставила камень на камне; вторые в своем выявлении претят монотонной всеобщностью, превращая жизнь «Я» в скучный кодекс казарменных «индивидуалистических» норм: все теории современного индивидуализма—универсальны до крайности; и все практики индивидуальных, оригинальных дерзаний (оригинальные методы жить)—скучны: протекают в одной изжитой обведенной границами сфере сознаний.

Кто это ясно сознал не в теории лишь (не в себе) но в конкретной действительности (т. е. себя в обведенных тюремных стенах), тот не станет наивно себя полагать провозвестником оригинальных теорий; тот покажется самому себе дон-Кихотом в своей просветительной деятельности: разбивания на других предрасудков сознания; тот себе скажет: «Я—болен: я весь—крик страданий болезни...»

И я говорю себе: «Болен я! Никуда не годюсь! Пусть меня призывают туда и сюда читать лекции, открывать «академии», организовывать «университеты» и участвовать «оригинальною» темой статьи в любом сборнике,—я на все те призывы отвечаю: «Я—болен, я пал бы перед собою самим и другими, еслиб не выдвинул в первую голову основной лейтмотив моей деятельности: «эгоистический» зуд катаракта, увы, все растущего на глазах.

Так себя я несусь среди вас, среди здоровых, еще опьяненных строительством жизни, еще «альтруистов», еще «просветителей», авторов оригинальных заданий, статей, тем и планов.

И нет: не зовите, больного, меня: дайте мне доболеть в моей самости; дайте брэнной, страдающей личности «Белого» опочить вечным сном; и—пред смертью своей написать завещание: рассказать, как носила умершая личность в себе свое «Я»; в этом лишь завещании умирающей личности—приближение к пределу, доступному ей: честно выявить голос писателя Белого в мощном оркестре мистерии, переживаемой ныне.

Не думайте, что больная, ослабшая личность, погрязшая в эгоизме своем и в отказе участвовать в широчайших заданиях культуры,—больнее, чем вы, просветители, деятели просвещения, культур-трэгеры, гуманисты; и—далее, далее ваше здоровье—невиденье; потому что не видите вы корни страшной болезни, с'едающей вам подсознание в ту минуту, когда себя мните вы «объективными альтруистами», переступившими самость, убившими эгоизм; самый зуд культур-трэгерства в вас в миги грома, в часы катастрофы (тот факт, что, когда умирают кругом от болезней, от голода, холода, вы

все еще продолжаете сочинять невоплотимые «проекты проспектов») — тот зуд альтруизма, «общественности» есть чудовищное проявление эгоистической самости; уподобляетесь вы тифозным, уже потерявшим сознание и бредящим схемами невоплотимейших «университетов», в то время как я, после бреда, очнувшись (как знать, может быть, лишь на миг), — ясно вижу: больничную койку, постель; ощущаю себя в ней лежащим в смертельной болезни; и — перебарывающим в себе ваши приступы бредов (я полн до сих пор грандиозными начинаниями, курсами лекций, статьями и прочим); я знаю, что, может быть, через минуту умру я, а может быть, как и вы, вновь забудусь, до агонии сливаясь всем бредом моим с вашим бредом.

Но в данном мне миге сознания знаю отчетливо я, что кипенье «утопий» во мне не есть творчество в новой стихии действительности, а барахтанье старых замашек; всюду я вижу одно: не стремление заплывать в текучей стихии сознания, а расчетливость, лень и коварные планы: перетащить продырявленные плоты, на которых вчера еще плавали (ныне на них нельзя плавать); желание «плавать» при помощи собственных рук вне плотов и платформ совершенно отсутствует в рейсах культуры, предложенных: «большевиками», «меньшевиками», «максималистами», «анархистами» «мистиками», «декадентами», не говоря о «кадетах» и прочих; одни предлагают проплыть на дырявой «калоше» культуры, на «броненосце» другие, а плавать нам надо при помощи собственных рук; но для этого надо броситься в «воду потопа»: признать факт потопа; признать, что в потоке утонет наш «плот» (наше личное «Я» в проявлениях эгоизма и альтруизма); в себе утопить свою «самость» не так то легко; этот акт утопления может медленно вызвать в сознании; «вызревание» — мучительно, как предсмертная агония.

Говорить о болезни в себе, говорить о болеющей самости, жаловаться на страдания — откровеннее многих форм «просветительной» деятельности, на которую большинство неспособно, поскольку оно в этом роде занятий стремится корыстно проплыть через воды потопа на собственной старой калоше; такую калошею выглядит для меня, как блестящая тема оригинальнейшей лекции, так и проповедь лозунгов «объективнейшей истины» жизни.

Я хочу говорить, почему мне так трудно культурно работать во внешних условиях жизни; и почему было-б мне невозможно культурно работать, сложись для меня, как писателя, внешняя обстановка

работы удачно. И так говоря о себе, своем «Я», я вскрываю пред всеми болезнь моей самости. Но ее нужно вскрыть перед всеми: все ею больны. Говорить о себе, своем личном, быть может сейчас для нас, пишущих, — есть единственное социальное дело.

Я стою перед фактом: нельзя мне работать со всей плодотворностью, на какую способен был я; полон я устремления выявить «Я» писателя в современности; наше «Я» — эпопея; эту эпопею полон и знаю наверно: роман «Я» есть роман всех романов моих (ненаписанных, как написанных); будь у меня время, деньги, бумага, чернила, перо, — я бы создал творение редкое в истории литературы; все прежние книги мои по отношению к «Я» (к эпопее), — лишь пункты, штрихи и наброски на незаполненном полотне; по отношению к заданию, мне мелькнувшему, я — «Микель Анджело», порывающийся изваять целый горный ландшафт.

Мои прежние книги распроданы; в частности: критики признают «Петербург»; я же знаю, наверно: «Петербург» — только пункт величавой картины, перед которой года я стою; колоссальные недостатки наброска (а «Петербург» есть набросок), меня не смущают случайный набросок был критикой встречен приветственно; — но почему мне не верят что полон я творчества, что «Петербург» лишь начало моей эпопеи, которую осуществить я могу лишь в условиях специальных; я — мастер огромных полотен; огромные плоскости нужны для кисти моей; многоэтажные стены дворцов мне могли бы отдать для моих титанических сюжетов; их — нет у меня; и оттого то единственно я не пишу эпопеи своей; между тем: одолевают меня «миниатюрами». «Напишите рассказик в три четверти печатных листа, напишите статейку»... Но за статейкой, рассказиком, лекцией я себя ощущаю: слоном на канате; срываюсь с каната и рву все канаты. Мне бы следовало развернуть быстрый бег среди джунглей, перевоза на спине монументы, попутно сражаясь с тиграми; но в условиях созданных вокруг меня («вы нужны для статьи», «для проекта проспекта», «рассказика»), я — сплошной неудачник.

Тут мне возражают любители произведений моих: «Вы дали уже «Петербург».... Но на это отвечаю я с горечью: «Сколько же я загубил «Петербургов»! И сколько я загубил в «Петербурге!..» Обращаясь ко мне за «статьей», за «лекцией», за «проспектом проекта реформы», во мне убивают в душе созревающий «Петербург»; перед сознанием моим возникают всегда «Петербурги»; но жизнь их растаптывает; и меня натра-

вляют на мелочи, которые рекомендуются мне, как «интересная деятельность»... Дайте право же мне выбирать самому свои темы! Из тем, мне заказанных, нет ни одной интересной: и все, что я делаю по заказу — бессильно и жалко: лежит подо мною оно!

Когда я стоял перед внутренним долгом осуществить свой эскиз к эпосе, создать «Петербург», товарищи по редакции осыпали меня мелким мусором дел, отравляющих творчество: этот мусор казался им деятельностью, совершенно достойной меня; в ряде лет оказался он разве что злободневною пылью; для этой поверхностной пыли по их представлению должен был жертвовать творчеством я (после же называли меня очень важно создателем «Петербурга»); в момент созидания создатель казался редактору «Мусажета» — предателем общего культурного дела; но ценою предательства общего дела осуществил я свой внутренний долг. Этот внутренний долг (когда я, вопреки всем условиям жизни, сумел довести до конца его бегством из русской действительности, забирая, где можно, авансы), — тот долг пред собою самим оказался: литературной заслугой пред обществом...

Помню я явственно, как в процессе писания «Петербурга» я стиснут был, пишучи по заказу Редакции, не желающей мне помочь материально и после отвергнувшей рукопись «Петербурга», которая была ею-ж заказана, — должен бы был уморить и себя, и жену я; в условиях этих, конечно же я, ничего бы не создал: нашелся писатель, как я, испытывавший превратности литературной работы; он прислал мне по-братски пятьсот лишь рублей; но они меня вынесли; миллионеры, любезно дарившие мне комплименты, и общество, требовавшее, чтобы я отвлекался от темы романа для пустынных «рефератиков», наконец, круг друзей, обвинявший меня в нежелании работать для общего редакционного дела, в то время не дали мне пятисот лишь рублей, необходимых, чтобы в три с лишним месяца написать до 14-ти печатных листов «Петербурга»; мне дал эти деньги писатель (бедняк, как и я); и эти бренные деньги — случайное обстоятельство, почему «Петербург», среди других «Петербургов», живущих во мне и раздавленных жизнью, мог стать «Петербургом» написанным.

Случайно написан был мною эскиз колоссальной картины (из «Я», эпоса): благодаря материальной поддержки литературного друга (поэта, писателя, как и я).

В то же время: 3000 рублей был я должен издательству; для покрытия долга предоставлял ему все я права на издание всех

сочинений моих; но оно облегчить не желало меня; нет, желало с меня получить долг наличной работой—«статейками» (в лист печатный, не более), действующими на психологию творчества (я писал «Петербург» как синильная кислота. Свой трехтысячный долг я вернул, уплатив часть суммы, полученной за «Петербург».

Так материальная помощь поэта и друга позволила мне: 1) написать «Петербург» 2) жить доходом 2 года с него 3) расплатиться наличною суммой с «Издательством», отягчившим до крайности мне условия этой расплаты.

Но мой «Петербург»—только пункт грандиозной картины; не «Петербург», иль «Москва»,—не «Россия» а—«мир» предо мною стоит: и в нем «Я» человека, переживающего катастрофу сознания, и свободного от пут рода, от быта, от местности, национальности, государства; предо мной—столкновение «мира» и «Я»; вижу явственно я «мистерию» человеческих кризисов, происходящую в сокровеннейших переживаниях духа: «Востоки и запады», «Петербург», «Нью-Йорк», «России», «Европы»—эскизы, картины, передо мною стоящей года; «Петербург»—уголочек; как «Микель-Анжело» я стою, говоря вам, читатели: «Верьте: огромности тем, над которыми свесился я, превышают все смелости ваших фантазий о них; дайте мне пять-шесть лет только минимум условий работы,—вы будете мне благодарны впоследствии; мне нужны колоссальные плоскости; и—огромное количество материала (пуды ярких красок); а вы,—вы, не веря заданиям моим, предлагаете мне все какие-то миниатюры, по отношению к которым я—слеп, глух и мертв; я уже говорил вам в эпоху писания «Петербурга»: о, дайте возможность мне бросить всех вас года на два, чтоб снова притти к вам с «эскизом» сюжета, который покажется вам интереснее тех сюжетов, которыми вы насильственно занимаете творческий мир мой, Вы мне не поверили; вы—боролись со мной и—гонялись за мной, задавая насильственно мне постылые темы работы; бежал за границу; оттуда вам дал «Петербург». Вы со мной согласились, что тема моя несомненно значительней тем мне когда то предложенных обществом, миром редакцией, друзьями. Так почему же не верите сызнова вы заявлениям: «Петербург» лишь эскизик картины, лишь пункт; позвольте уйти от всех вас года на три-четыре в пустыню, чтоб к вам же вернуться...

«Я есмь Чело Века»,—вот имя невиданной эпопеи, которую мог бы создать; а все прочие темы при всей «интересности» их,—я не вижу: рассеян и болен «единственной темой»: те-

мой всей жизни! Сознательно уклоняюсь от всех мне навязанных тем; в этом долг!» —

Предлагают мне, автору неповторимой, единственной темы, в сознании человеческого возникающей, может быть раз среди ряда столетий,—толкаться в собраниях, реформировать театральное дело, писать ряд статей и обучать 25 пролетарских писателей тонкостям метрики: все я, конечно, могу; но то все мог бы выполнить «Сидоров», «Соколов», иль, «Петров», не ходящие по-миру с невероятной, единственной темой, удачей меня. Отпустите меня на свободу: и я—я вплотную придвинусь к вам темой моею: то «Я», о котором хочу я писать—ваше «Я»; я впервые увидел вас всех в «Я», в единственной теме моей: дайте, дайте возможность войти в ваше «Я», в нем зажить вместе с вами. Для этого: посадите меня в заточение; дайте мне несколько жалких поленьев (иль пищи), бумаги, чернил, чтоб орудие воплощения замысла или рука оболочки моей беспрепятственно бы могла выводить на бумаге слова. Обеспечьте (о нет, не меня: мое детище!): я верну вам затраты.

Вот ясный циничный ответ моей брэнной, больной, умирающей, «самостной» личности (умирающей от движения «младенца» во мне—моей темы) на призывы: «Работайте с нами!» Цинизм мой—есть трезвость; она опирается на несомненнейший факт: приглашение меня на работу покоится на признании прошлых работ: но все прошлое—лишь эскизы; я знаю наверное: еслибы осуществить мне хоть частью картину мою,—вы бы ахнули! Вы—не верите? Да, между прочим, я лектор; но знаю наверное: мои лекции интересны тогда лишь, когда оне—песня; а запрягать меня в «курсы» нелепо; да можно, конечно, зубами держать повод; но для чего тогда руки? И можно единственного носителя совершенно единственной темы использовать лектором—для чего? Лекторов очень много, а авторов «эпопей» задуманной мною, вне меня в современности нет!

Сознавая таким себя, предлагаю я всем представляющим мне побочные темы работы,—свою коренную, исконную тему работы; эгоистически упираюсь, гоню от себя я абстракции «альтруистической» деятельности; обстоятельства вынуждают меня «торговаться», и даже: себя «рекламировать»; но реклама есть следствие критики себя самого в роли «деятеля», «просветителя», «председателя», «администратора», «лектора».

Не одинок я в «цинизме» с которым себя предлагаю; не с одинаковым ли «цинизмом» себя рекламировал Леонардо-да-Винчи, когда писал он Сфорца: «Я знаю способ наводить легкие мосты...

Я знаю, как при осаде города отводить воду из рвов... Также я знаю, как прокладывать под землею подкопы... Я делаю также надежные и крепкие крытые колесницы... В мирное время думаю,... смогу превосходно удовлетворить требованиям искусства зодчества... и т. д. <sup>1)</sup> И вот, пародируя Леонардо, я обращаюсь в пространство: и объявляю чрез голову предлагаемых, «служб»—всем, всем, всем: «Знаю тему, которой раскрытие было бы крайне нужно: бытописателю, психиатру, психологу... Знаю способы изображать подсознание нашего «Я».. Я спускался, в подземные шахты сознания, я описывал руды и газы, которые встретились мне и которые будущим шахтерам необходимо узнать... Да, я думаю, что смогу материалы, мной собранные для науки о духе в мирах подсознания расположить эстетически, так что перечень их прозвучит для читателя музыкальною сказкой»...

Так мог бы пред русским народом (не пред «тираном» Людовико Сфорца) публично себя защитить, как кабинетного труженика; я нуждаюсь в гарантии, что за этою нужной работою не умру я от голода; если народу я нужен, как стойкий работник на ниве культуры, то сам я сумею найти себе место; на все указания мне что мне делать, единственно отвечаю искренно: «Я—не лектор, не специалист по стилистике, не педагог, не заседатель в комиссиях, не председатель; я только всего—беллетрист... Мои лекции—песня (а под кнутом не поют), мое знание техники и работы по ритму—случайные отклонения от прямого пути; заседать, председательствовать не умею: я—путаник: я—сапожник, которого затащили в кондитерскую; и заставляют насильственно печь пироги... Вы оставьте меня: умирать, как писателя... Буду охотно я чистить проспекты, наймусь-ка я в дворники; знаю: физический труд не разлагает душевную песню; насильственный умственный труд,—только гибель души»...

Психология эта (на склоне писательских лет) уважительна; вспомните Ибсена, писавшего королю: «жить исключительно... литературным трудом... невозможно... Я вошел в долги... и не видел иного исхода, как... эмигрировать в Данию... Но покинуть родину, отказаться от деятельности, на которую до сих пор... продолжаю смотреть, как на истинное свое призвание мне невыносимо тяжело...» <sup>2)</sup> И—далее: «В руках вашего величества дать мне умолкнуть, склониться под бременем самого горького отречения, которое только может вы-

<sup>1)</sup> Из письма Леонардо-да-Винчи к Людовико Сфорца.

<sup>2)</sup> Письмо от 10-го марта 1863 года.

пасть на долю души человеческой,—отречение от дела всей жизни». <sup>1)</sup> Года автор Брандта боролся за право свою быть писателем, принципиально отстаивая не себя одного, но в лице своем всякого деятеля пера, для которого литература есть подвиг, и гордою горечью дышат естественно письма того, кто себя осознал необходимым участником мощной народной норвежской культуры. Так я, для которого «Петербург» лишь прелюдия («Брандт» был для Ибсена только прелюдией творчества)—так стою пред судьбою своей я с горькою гордостью; и сознавая в себе свою силу чрез голову всем обращаюсь к России с уверенным словом: «Я—нужен тебе!—И я знаю, чем именно нужен»!

Но еслибы мне сказали «не нужен», то—со спокойною гордостью положил бы на стол я перо; и ожививши в себе свои школьные знания, поступил бы на фабрику «химиком». Ибсен был то же аптекарем; добросовестным, председателем, лектором быть он не мог: по свидетельству Брандеса относился ко всяким союзам, комиссиям, обществам отрицательно Ибсен.

Приведенные выше слова его писем об отречении от дела всей жизни относятся к 1866 году; родился же Ибсен в 1828 году: ему было уже тридцать восемь лет; образы «Брандта» стояли пред ним; впереди ожидали его «Пер Гюнт», «Император и Галилеянин», «Столпы общества», «Призраки», «Нора», чудеснейший «Росмерсгольм», невероятная «Дикая утка», «Элида», «Эйольф», «Гедда Габлер», «Строитель Сольнесс», «Джон Габриэль Боргман», «Когда мы мертвые пробуждаемся» т. е. все почти, за что любим мы Ибсена; все это нес он в себе; и готовясь склониться перед горькой судьбой, «это все» обрекал на сожжение в себе Генрик Ибсен.

Сначала он долго боролся, пытаясь служить «просветительной» деятельности; в 1850 году он бросает аптеку; с 1851 до 1857-го он в Бергене режиссирует; переезжает потом в Христианию; в этой деятельности он рассеян; и—вряд ли полезен народу; он держится замкнуто, не поправляет артистов, спеша очевидно скорее отделаться от постылого долга; и—затвориться средь стен каинета; двадцатилетним еще пишет Ибсен трактат, под заглавием «Об значении самопознания», где он учит, как методами самопознания надо обуздывать страсти (1848 года). Самопознание, углубление в себя, лишь приблизило к нам мир сознания Ибсена; этот мир бы разрушился, если бы Ибсен остался служить в Христиании

<sup>1)</sup> Из письма 15-го апреля 1866 года.

и не бросился в бегство из той атмосферы, в которой все образы духа его разлагались; в то время же распродают в Христиании с аукциона имущество Ибсена—за долги; и тем не менее, бросивший все, тридцативосьмилетний писатель измученный «просветительной деятельностью», просит помощи у короля; в материальной субсидии раз уж ему отказали; и—тем не менее сызнова поднимает он голос свой, очевидно—измучился он; между тем о нем пишут в то время: «Господин Ибсен в качестве драматурга представляет такое ничтожество, для которого нация не может с особым жаром насаждать охранительную сень» <sup>1)</sup>; в университетской комиссии, от которой зависела рекомендация Правительству деятельности драматурга, один из «профессоров» заявляет что Ибсен достоин не помощи, а—розог.

И тем не менее, зная, что может создать он, он—требует помощи; и получивши ее, приподымает на годы престиж Скандинавии.

Тридцативосьмилетний писатель в эпоху, когда он отчаялся дальше работать в условиях, оковавших его, был уже правда создателем «Катилины», «Кургана» (1850), «Пира в Сольгауге» (1856), «Воителей в Гельголанде» (1857), «Борьбы за престол» (1863), «Комедии любви» (1862) и «Фру Ингер», но—разве за образы этих драм любим Ибсена? Положите на чашку весов эти драмы а на—другую все прочее, созданное в уединении работы,—увидите: именно проливается Ибсен, живет в нас тогда, когда видимо убегает от всех его личность; в эпоху девяностых годов, наиболее плодотворную драмами Ибсена мирового значения, по свидетельству Конрада Ибсен—не посещает театров, концертов, музеев; он—мало читает, бежит от людей, признаваясь Паульсону: «Не хочется умереть, не высказав того, что у тебя есть на душе <sup>2)</sup>».

Бегство Ибсена по существу есть стремление к общению; индивидуальнейшее устремление его уже есть социальное; «индивидуум» Ибсен и мир вокруг него суть единство; и оттого то из‘ята из мира перчатка, надетая на руку индивидуума: личность Ибсена. нет ее с нами и Ибсен, прибрав ее, держит ее взаперти.

Так и я: мне теперь, как и Ибсену, роковые моменты его—уже под сорок лет; уже я написал «Петерург», «Символизм», «Голубь», «Пепел», «Симфонии», «Арабески», и «Котик Летаев»; «Воители в

---

<sup>1)</sup> «Жизнь и литературная деятельность Ибсена» в собрании сочинений издания Ганзена.

<sup>2)</sup> Idem.

«Гельголанде» мои — «Петербург», «Пир в Сольгауге» мой есть «Серебряный Голубь», а «Катилина», «Курган» суть «Симфонии». Я пожалуй бы мог заявить: в годы Ибсена мною написано столько же сколько и им, когда был он ровесником мне; как об Ибсене некогда выражались, что он заслуживал только розги, так ныне еще говорят «Андрей Белый — ничтожество, как писатель». Другие же, возражая, впадают в другую обидную крайность: «нет, Белый создал «Петербург», но он высказался»... Погодите меня хоронить: я в себе ощущаю огромную силу; все мною написанное, лишь «эскизы», лишь деятельность» тридцативосьмилетнего, переутомленного Ибсена, знающего, что ему предстоит «Враг народа», «Джон Боркман», «Элида» «Эйольф», «Привидения», «Нора» и — далее, далее, и не могущего приступить к воплощению основной ноты жизни.

Мне не хочется умереть, не сказав основного; и между тем: мне дальнейшее пребывание «в культуре» грозит недостойной разменной сил; и потому то, как Ибсен, согласный в то время скорей стать аптекарем, чем писателем под кнутом роковых обстоятельств, — как Ибсен скорее согласен бежать я на фабрику, чем бесплодно кидаться, ища средства жить, от газеты к чтанью в кафе, от кафе в заседания многообразных комиссий, от заседаний на лекции и от лекций к писанью статей — («Пожалуйста, напишите статью о Новом Театре», — «Пожалуйста, напишите о ритме в поэзии Пушкина», — «Напишите рассказик», — «Ах, дайте поэмку строк на сто»)...

— «Оставьте в покое меня: я ведь — Ибсен» перед созданием «Приведений», «Строителя Сольнесса, а не сказавшийся в «Петербурге» писатель, которого смысл только в прошлом, которого на, основании этого можно без жалости разрывать... «Петербург» не конец а — начало!...

Вопрос мой — вопрос одного из писателей русских (писателя *par excellence*) закувыркавшегося меж журнальных статей, заседаний заказанных лекций: «могу ли я впредь быть писателем при моральной усталости (следствие ряда «насилий», над жизнью моею), словившей здоровье; могу ли я впредь литературно работать над «детисшем», над единственной и невиданной темой «моей»? Если нет остается сказать вместе с Ибсеном мне: «в руках русского общества дать мне умолкнуть, склониться под бременем самого горького отречения которое только может выпасть на долю души человеческой, — отречения от дела всей жизни».

Почему же нельзя мне работать?

Мне негде печататься! Помню когда-то давно миллионеры, с любовью расточая свои комплименты писателю Белому, когда он приступал к «Петербургу», спокойно смотрели, как я голодал; а «Издательства» прижимали меня; все ж порою «Издательства» мне кидали гроши, чтоб не умер я с голоду; в социалистическом государстве же я, пролетарий, пока обречен на голодную смерть, если я захочу жить действительным делом своим, а не кидаться в «комиссии» где я все только путаю.

Перед нами встают роковые вопросы, не разрешимые приглашением нас читать лекции, заседать, председательствовать и т. д. Было б безумием Льва Толстого заставить служить; и безумием было бы Ибсена затащить в режиссеры. «Культурные» темы—ничто. пред одной, самой жизнью приподнятой темой для меня: что же делать писателю, заряженному темой мирового значения в... Федеративной Республике? Остается сказать ему:

— «Я не могу предавать своей самости, не могу убивать за младенцем младенца в себе; да, я должен бороться за право сказать то, что мне полагается.

— Если же у меня отнимают возможности выполнить долг свой, как Ибсен, склоняюсь я перед горькою участью; и превращаюсь—в аптекаря, дворника, во что угодно, но только не деятеля «насаждения просвещения», потому что я знаю, в чем сила моя просветительна и в чем сила моя превращается в угашение света».

Здесь ставлю я точку; мной сказанное—не обвинение кого бы то ни было, в чем бы то ни было; я встречаю повсюду внимание, ласку, привет и готовность помочь мне в моих горьких бедах; но вот... мы друг другу помочь не умеем; помочь можно «Я» моему через «Я»; но «Я» в нас—лишь проблема; весь рост эгоизма во мне, вся болезнь «моей» жизни—от осознания, что во мне, чрез меня прорастает «Я» собственно и оно не «Я» личности Белого; еще менее оно «Я» Бугаева; это «Я» прорастает в Иванове, в Блоке, в товарище Александровском (талантливом пролетарском поэте); но сочетать наши «Я» в коллективное «Мы», это—значит: свершать роковую подмену; воистину «Я»—коллектив многих «Мы» из которых отдельное «Мы»—«соединение» потухающих личностей (катактов на «Я»); для создания коллектива естественно выявить—не-соизмеримости наших личностей; для того, чтобы найти твердый выход из тела корыстных эмоций, «я» должен отчетливо погрузиться в себя и взрывать в себе личность; внутри ее выход в «Я» подлин-

ное (внутри «Я»—мы все); и потому то с настойчивым эгоизмом иду я в себе чрез единственное, неразложимое, отделяющее мою личность от личности всех; осознать отделение—социальное дело; я опускаюсь в пробитые бреши моей разбиваемой личности; точно в узкий колодезь до водоносящего слоя; и черпаю воду живую, и—вновь поднимаюсь к поверхности, утверждая теперь, что наткнулся конкретно на истину: «Я» не есть «Я»; «Мы» не «Мы»; индивидуальное и социальное в нас—пережиток эпохи, разбитой уже; говоря о конкретнейшем (о прорытом колоде в себе—сквозь себя), говорю о конкретнейшем «Я» и всякого другого сознания, к которому протянуться извне я пока не могу и с которым я встречу тогда лишь, когда «Я» другого сознания выроет в своей личности совершенно такой же колодезь; тогда и оно будет черпать в себе ту же воду которую черпаю я.

Конкретно узнал: есть вода Я «сознания». Если другие не захотят мне поверить, то пред лицом всего мира, схвативши бурей сознания, готов совершить грандиозное социальное дело: пробурить пласты высыхающей личности до водоносных потоков, где эти потоки под почвою образуют естественный спуск; пробуривавши здесь толщи личности, вызову великолепное зрелище я: Артезианский Фонтан, вылетающий из под почвы сознания над почвами личности, как явление сверхсознания в «Я», заблестевшим под солнцем.

Пришло время тайное сделать всем явным—ходить и кричать: «Я сознания преобразилось: воскресло, живет; и разбиты все личности, как разбиты уже коллективы из личностей; коллектива—нет; личности—нет».

В свете новой, огромной, невыносимейшей истины, все бывшие культурные, гуманитарные темы суть темные пятна в глазах—катаракты, которыми, защищаясь от света, эгоистически прикрываем мы «самость» личности; и собираясь в стада—в стада личностей—называем собрания эти «Альтруистическими» коллективами; но альтруизм наш корыстен: он форма лишь защиты непроницаемых личностей от лучей сожигающих «Я»; наше обычное зрение—не зрение сквозь зрачок в Божий мир, а созерцание процессов в болезни зрачка.

Просвещение, новое Просвещение есть, но оно—просвещение, сожигающее в свете «Я» мою личность; иные критерии просвещения пали: они—абберация; так безногий еще ощущает все пальцы отрезанных ног; но это вовсе не значит, что этот безногий способен ходить на... отрезанных, несуществующих пальцах; точно

так же эпохою срезаны личности с «Я»; но эти личности продолжаем еще ощущать мы во всем строе жизни, которого нет уже; в диапазоне заданий, статей, просветительных учреждений, оригинальных концепций живет ощущение безногих: присутствие всего того, чего нет уже; при попытке осуществить наши планы уподобляемся мы тем безногим, которые, доверяясь ложному ощущению существования ног, безрассудно пытались бы встать на... отсутствие ног; они грохнулись бы на землю, ушиблись бы больно; так падаем, ушибаемся мы при попытке конкретизировать тему оригинальной статьи, осуществить план создания «Академии» и т. д. Мы—забываем, что ног у нас нет; мы—калеки; так все наши планы заведомо обречены на гибель; и—суждены нам ушибы.

Не приняли ряда мы истин: что, например, мы—без ног; что, например, вместо ног у нас выросли крылья, которые мы после некоторых упражнений уж можем разворачивать, что крылатое, индивидуальное «Я», точно бабочка, вылетает из бранных составов; но мы не хотим научиться летать, доверяясь аберрации ощущения, будто есть у нас ноги; при каждой попытке ходить, грузно падаем мы. Все темы, к которым меня призывают, которым все еще продолжают жить люди,—суть ложные ощущения, отсутствие ног, обрекающее на бесконечность падений; и тема моя—извещение, что отсутствие ног заменено ростом крылий:—дух «Я», не стесняемый более личностью,—крылья души.

Мы безногие, если не знаем мы тайны, что «Я» изменилось; что мы же—крылатые, если пытаемся мы опуститься сквозь мертвую личность до «Я»; дети ползают на карачках; и только потом они учатся—прямо стоять; по отношению к новой способности, мы еще дети—не умеем разворачивать крыльев, не пробуем, потому что не видим еще своих крыльев: они—за плечами; и не узнали мы вести, что ног у нас нет; потому то сознание связано наше с ногами (с отсутствием ног); и потому то сознание наше еще продолжает твердить: крылья нам невозможны (и—вопреки очевидности); перемещение сознания—вот что нам нужно; огромная революция произошла в материальной картине обставшего мира; сознание наше пытается старыми формами закрепить происшедшее; и с болезненным зудом кидается вымолачивать ряд проектов, платформ, учреждений; а между тем: революция материального мира есть тень революции мира сознания; революции этой в себе не хотим мы узнать; и оттого то—безногие мы упадаем в попытке ногами своими ощупать устойчивость почвы; вывернуть наизнанку в сознании

нашем—все, все, и предстоит нам впервые вернуться в себя,—стать на «Я», а не на-ноги.

И для этого следует трезво в себе разглядеть то, что есть; описать то, что есть; мы описываем не самих себя, а портреты себя в нашем детстве; мы думаем, созерцая ребенка: когда то меня таким сняли: и стало быть «Я» есмь это вот безбородое существо. Стоит нам на себя повернуться, и мы вдруг увидим, что мы—боро-датые, лысые, старые; надо сызнова описать материалы сознания «Я», а не строить абстрактно теорий о я—вот единственно важное дело—нас, призванных к просвещению; а для этого следует нам просветиться до «Я» т. е. видеть сквозь личность; мы приплыли к Новому Свету в себе; но как Колумб, еще думаем, что приплыли мы к Индии: Старого Света в нас нет, но еще продолжаем по старому мы и плотнить, и тончить все задания времени; эмпирически разглядеть, описать наблюденное мы не умеем. И оттого то не видим впервые расцветших цветов сознания; и оттого то «пи о н ы» старинных узнаний рассеянно называем мы «ро за ми»; и вместо «ро з» новой жизни искусственно мы разводим культуру «пионов».

Я—бренный, больной, умирающий, не научившийся новым полетам—я знаю одно (знаю твердо): когда призываете дружно меня стать на почву культуры,—я знаю, что ног у нас нет; и мы—свалимся; но я знаю другое: дана нам возможность летать на крылато расширенном «Я».

Тут в обоих узнаниях я одинок: и оттого то единственную культурной задачей я считаю—конкретное описание путей, по которым сквозь взрытую личность в себе я спускался до «Я»; неудачи меня посетившие здесь, приключения, встречи в рискованном путешествии этом—пусть будут мне описуемым материалом, конкретным и эмпирическим; кажется мне, что я сделал открытие; если да—то открытие это огромно по следствиям; добросовестная топография географических путешествий моих проверяемых к ним приложенной картою есть задача всей жизни: культурная тема работы—она; и работать над прочими оригинальными темами при сознании, что эти оригинальные темы суть «призраки ног», и прежде бывших действительно, ныне ж отрезанных,—я не могу; если верно мое наблюдение, что нам можно летать, что культурная почва, к которой зовут меня все, есть не почва, а твердь мирового пространства, то как же могу я работать на «почве», которой нет больше, «ногами», которых нет больше—вместо того, чтоб летать на действительно выросших крыльях в действительной звездной беспочвенности.

Описание моего путешествия в «Я»—описание путешествия нового Колумба на Солнце; мне следует и себе, и другим показать, что мое путешествие, совершенное в полном сознании сквозь области сна в мир за-сонной действительности не есть сон; и во-вторых показать, что блеск Солнца (Я—«Солнце») есть подлинный блеск, (не болезни зрачка, не психическое заболевание личности); должен заметить, что те инструменты, которые были захвачены мной в «путешествие» несовершенны до крайности; стало быть: наблюдения при помощи их—наблюдения сквозь призму ошибок; и все таки: мир, мною узнанный, может быть, совершенно неверно описанный—есть; между тем, для окружающих сотоварищей по пути он—отсутствует.

Потому то работа моя (описание материала сознания в «Я» отрешенного от телесного мира)—работа единственная по своей исключительной важности уж хотя б потому, что все темы культуры она перевертывает; я как бы говорю: мы живем не на шаре, а—в шаре, где солнце стоит по середине;—при этом готов утверждать что мои наблюдения не теория, а—наблюдения именно; мог допустить ряд ошибок; так: свойство стекла микроскопа вписать в наблюдаемое посредством стекла; и я все-таки утверждаю: я что-то такое нашел в жизни «Я»; никакие ошибки приемов исследования не заслонят это что-то.

И оттого то теперь обладаю я правом, презревши проблемы «культуры», остаток моей горькой жизни отдать описанию «Я».

И на этом пути создавать своих «Сольнесов», «Боркманов», «Брандтов».

На меньшее я не гожусь: но—гожусь быть аптекарем.

Андрей Белый.